

Иван Сергеевич Тургенев

После смерти



Иван Тургенев

После смерти

«Public Domain»

1882

Тургенев И. С.

После смерти / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1882

«Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, старая девица, лет пятидесяти с лишком, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она заведовала его хозяйством и вела его расходы, на что Аратов совершенно не был способен. Других родных у него не было. Несколько лет тому назад отец его, небогатый дворянчик Т...й губернии, переехал в Москву вместе с ним и Платонидой Ивановной, которую, впрочем, всегда звал Платошей...»

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	11
V	14
VI	16
VII	18
VIII	21
IX	23
X	25
XI	27
XII	29
XIII	31
XIV	34
XV	36
XVI	38
XVII	40
XVIII	43

Иван Сергеевич Тургенев

После смерти

Клара Милич

I

Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, старая девица, лет пятидесяти с лишком, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она заведовала его хозяйством и вела его расходы, на что Аратов совершенно не был способен. Других родных у него не было. Несколько лет тому назад отец его, небогатый дворянчик Т...й губернии, переехал в Москву вместе с ним и Платонидой Ивановной, которую, впрочем, всегда звал Платошей; и племянник так же ее звал. Покинув деревню, в которой они все до тех пор постоянно жили, старик Аратов поселился в столице с целью поместить сына в университет, к которому сам его подготовил; купил за бесценок домик в одной из отдаленных улиц и устроился в нем со всеми своими книгами и «препаратами». А книг и препаратов у него было много – ибо человек он был не лишенный учености... «чудак преестественный», по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником; даже прозвище получил «инсектонаблюдателя». Он занимался химией, минералогией, энтомологией, ботаникой и медициной; лечил добровольных пациентов травами и металлическими порошками собственного изобретения, по методу Парацельсия. Этими самыми порошками он свел в могилу свою молоденькую, хорошенькую, но уж слишком тоненькую жену, которую любил страстно и от которой имел единственного сына. Теми же металлическими порошками он порядком попортил здоровье также и сына, которое, напротив, желал подкрепить, находя в его организме анемию и склонность к чахотке, унаследованные от матери. Имя «чернокнижника» он, между прочим, получил оттого, что считал себя правнуком – не по прямой линии, конечно, – знаменитого Брюса, в честь которого он и сына назвал Яковом. Человек он был, что называется, «добрейший», но нрава меланхолического, копотливый, робкий, – склонный ко всему таинственному, мистическому... Полушепотом произнесенное «А!» было его обычным восклицанием; он и умер с этим восклицанием на устах – года два спустя после переселения в Москву.

Сын его Яков наружностью не походил на отца, который был некрасив собою, неуклюж и неловок; он скорей напоминал свою мать. Те же тонкие, миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же маленький нос с горбиной, те же выпуклые детские губки – и большие, зеленовато-серые глаза с поволокой и пушистыми ресницами. Зато нравом он походил на отца; и несхожее с отцовским лицо носило отпечаток отцовского выражения, и руки имел он узловатые, и впалую грудь, как старик Аратов, которого, впрочем, едва ли следует называть стариком, так как он и до пятидесяти лет не дотянул. Еще при жизни его Яков поступил в университет, по физико-математическому факультету; однако курса не кончил – не по лености, а потому что, по его понятиям, в университете не узнаешь больше того, чему можно научиться и дома; а за дипломом он не гонялся, так как на службу поступить не рассчитывал. Он дичился своих товарищей, почти ни с кем не знакомился, в особенности чуждался женщин и жил очень уединенно, погруженный в книги. Он чуждался женщин, хотя сердце имел очень нежное и пленялся красотой... Он даже приобрел роскошный английский кипсэк – и (о позор!) любовался «украшавшими» его изображениями разных восхитительных Гюльнар и Медор... Но его постоянно сдерживала прирожденная стыдливость. В доме он занимал быв-

ший отцовский кабинет, который был также его спальней; и постель его была та же самая, на которой скончался его отец.

Беликим подспорьем всего его существования, неизменным товарищем и другом была ему его тетка, та Платоша, с которой он едва ли менялся десятью словами в день, но без которой он не мог бы ступить шагу. Это было длиннолицее, длиннотубое существо, с бледными глазами на бледном лице, с неизменным выражением не то грусти, не то озабоченного испуга. Вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфарой, она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами; вздыхала, шептала молитвы – особенно одну, любимую, состоявшую всего из двух слов: «Господи, помози!» – и очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку и все закупала сама. Племянника своего она обожала; постоянно кручинилась об его здоровье, всего боялась – не за себя, а за него – и, бывало, чуть что ей покажется, сейчас тихонько подойдет и поставит ему на письменный стол чашку грудного чаю или погладит его по спине своими мягкими, как вата, руками. Яков не тяготился этим ухаживанием – грудного чаю, однако, не пил – и только одобрительно покачивал головою. Впрочем, здоровьем он тоже похвастаться не мог. Очень он был впечатлителен, нервен, мнителен, страдал сердцебиением, иногда одышкой; подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть – невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных... и верил также в науку, в ее достоинство и важность. В последнее время он пристрастился к фотографии. Запах употребляемых при этом снадобий очень беспокоил старуху тетку – опять-таки не для себя, а для Яши, для его груди; но, при всей мягкости нрава, в нем было немало упорства – и он настойчиво продолжал полюбившееся ему занятие. Платоша покорились и только пуще прежнего вздыхала и шептала: «Господи, помози!», глядя на его окрашенные иодом пальцы.

Яков, как уже сказано, чуждался товарищей; однако с одним из них сошелся довольно близко и видал его часто, даже после того, как этот товарищ, выйдя из университета, поступил на службу, мало, впрочем, обязательную: он, говоря его словами, «примостился» к постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля. Странное дело: этот единственный приятель Аратова, по фамилии Купфер, немец до того обрусевший, что ни одного слова по-немецки не знал и даже ругался «немцем», – этот приятель не имел с ним, по-видимому, ничего общего. Это был чернокудрый, краснощекий малый, весельчак, говорун и большой любитель того самого женского общества, которого так избегал Аратов. Правда, Купфер и завтракал и обедал у него частенько – и даже, будучи человеком небогатым, занимал у него небольшие суммы; но не это заставляло развязного немчика прилежно посещать укромный домик на Шаболовке. Душевная чистота, «идеальность» Якова ему полюбилась, быть может, как противоречие тому, что он каждый день встречал и видел; или, быть может, в этом самом влечении к «идеальному» юноше сказывалась его все-таки германская кровь. А Якову нравилась добродушная откровенность Купфера; да, кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах, где он был завсегдатаем, – вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть, – тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочем, в нем желания изведать все это собственным опытом. И Платоша жаловала Купфера; правда, она находила его иногда чересчур бесцеремонным, но, инстинктивно чувствуя и понимая, что он искренне привязан к ее дорогому Яше, она не только терпела шумного гостя, но благоволила к нему.

II

В то время, о котором идет наша речь, обреталась в Москве некая вдова, грузинская княгиня – личность неопределенная, почти подозрительная. Ей было уже под сорок лет; в молодости она, вероятно, цвела той особенной восточной красотой, которая так скоро блекнет; теперь она белилась, румянилась и красила волосы в желтую краску. О ней ходили разные, не совсем выгодные и не совсем ясные слухи; мужа ее никто не знал – и ни в одном городе она подолгу не жила. Ни детей, ни состояния у ней не было; но она жила открыто – в долг или иначе; держала, как говорится, салон и принимала довольно смешанное общество – большей частью молодежь. Все в ее доме, начиная с ее собственного туалета, мебели, стола – и кончая экипажем и прислугой, – носило печать чего-то недоброкачественного, поддельного, временного... но и сама княгиня и ее гости, по-видимому, ничего лучшего не требовали. Княгиня слыха любительницей музыки, литературы, покровительницей артистов и художников; да и действительно интересовалась всеми этими «вопросами» – даже до восторженности – и до восторженности не совсем напускной: Эстетическая жилка в ней несомненно билась. К тому же она была очень доступна, любезна, без чванливости и ломания – и, чего многие не подозревали, в сущности, очень добра, мягкосердечна и снисходительна... Качества редкие – и тем более дорогие – именно в подобного рода личностях! «Пустая баба! – выразился о ней один умник, – а в рай попадет непременно! Потому: все прощает – и ей все простится!» О ней говорили также, что когда она исчезала из какого-нибудь города – она всегда оставляла в нем столько же заимодавцев, сколько людей, облагодетельствованных ею. Мягкое сердце в какую хочешь сторону гнется.

Купфер, как и следовало ожидать, попал в ее дом и стал к ней близким... злые языки уверяли: слишком близким человеком. Сам же он всегда отзывался о ней не только дружески, но с уважением; величал ее золотою женщиной – что там ни толкуй! – и твердо верил и в ее любовь к искусству и в понимание ею искусства! Вот однажды, после обеда у Аратовых, разговорившись о княгине и об ее вечерах, он начал убеждать Якова нарушить хоть раз свою анахоретскую жизнь и позволить ему, Купферу, представить его своей приятельнице. Яков сперва и слушать не хотел.

– Да ты что думаешь? – воскликнул наконец Купфер, – о каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь, в сюртуке – и повезу тебя к ней на вечер. Никаких, там, брат, этикетов не водится! Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку (у Аратова в кабинете действительно находилось пианино, на котором он изредка брал аккорды с уменьшенной септимой) – а у ней в доме всего этого добра вдоволь!... И людей ты там встретишь симпатических, безо всяких претензий! Да и, наконец, нельзя же в твои годы, с твоей наружностью (Аратов опустил глаза и махнул рукою) – да, да, с твоей наружностью, так чуждаться общества, света! Ведь не к генералам я тебя везу! Впрочем, я сам генералов не знаю! Не упирайся, голубчик! Нравственность – дело хорошее, почтенное... Но зачем же в аскетизм вдаваться? Не в монахи же ты себя готовишь!

Аратов, однако, продолжал упираться; но на подмогу Купферу неожиданно явилась Платонида Ивановна. Хотя она не поняла хорошенько, что это за слово такое: аскетизм – однако тоже нашла, что Яшеньке не худо развлечься, на людей посмотреть и себя показать. «Тем более, – прибавила она, – что я уверена в Федор Федорыче! В дурное место он тебя не повезет!...» – «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» – вскричал Купфер, на которого Платонида Ивановна, несмотря на свою уверенность, бросала беспокойные взгляды. Аратов покраснел до ушей – но возражать перестал.

Кончилось тем, что на следующий день Купфер повез его на вечер к княгине. Но Аратов недолго там остался. Во-первых, он нашел у ней человек двадцать гостей, мужчин и жен-

щин, положим, и симпатических, но все-таки чужих; и это его стесняло, хотя беседовать ему пришлось очень немного: а этого он больше всего боялся. Во-вторых, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Все в ней ему не понравилось: и раскрашенное лицо, и взбитые кудри, и хриловато-слащавый голос, визгливый смех, манера закатывать глаза под лоб, излишнее декольте – и эти пухлые, глянцевиные пальцы со множеством колец!.. Забившись в угол, он то быстро пробежал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе на ноги. Когда же, наконец, один заезжий артист с испытанным лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под съезженной бровью сел за рояль и, ударив с размаху руками по клавишам, а ногой по педали, начал валять фантазию Листа на вагнеровские темы – Аратов не выдержал и улизнул, унося в душе смутное и тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное, но значительное и даже тревожное.

III

Купфер пришел на другой день обедать; однако распространяться о вчерашнем вечере не стал, даже не попрекнул Аратова за его поспешное бегство – и только пожалел о том, что он не дождался ужина, за которым подавали шампанское! (Нижегородского изделия, заметим в скобках.) Купфер, вероятно, понял, что напрасно вздумал расшевелить своего приятеля – и что Аратов к тому обществу и образу жизни человек решительно «не подходящий». С своей стороны, Аратов тоже не заговаривал ни о княгине, ни о вчерашнем вечере. Платонида Ивановна не знала, радоваться ли неудаче этой первой попытки или сожалеть о нем? Она решила наконец, что здоровье Яши могло пострадать от подобных выездов, – и успокоилась. Купфер ушел тотчас после обеда и целую неделю потом не показывался. И не то чтобы он дулся на Аратова за неудачу своей рекомендации – добряк на это не был способен, – но он, очевидно, нашел некоторое занятие, которое поглощало все его время, все его помыслы, потому что и впоследствии являлся редко к Аратовым, вид имел рассеянный, говорил мало и вскорости исчезал... Аратов продолжал жить по-прежнему; но какая-то, если можно так выразиться, закорючка засела ему в душу. Он все что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно, – и это «что-то» относилось к вечеру, проведенному у княгини. Со всем тем вернуться к ней он не желал нисколько – и свет, часть которого он улицезрел у нее в доме, отталкивал его больше чем когда-либо. Так прошло недель шесть.

И вот в одно утро опять предстал пред ним Купфер, на этот раз с несколько смущенным лицом.

– Я знаю, – начал он с принужденным смехом, – что тебе не по вкусу пришелся твой тогдашний визит; но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение... не откажешь мне в моей просьбе!

– В чем дело? – спросил Аратов.

– Вот, видишь ли, – продолжал Купфер, все более и более оживляясь, – здесь есть одно общество любителей, артистов, которое от времени до времени устраивает чтения, концерты, даже театральные представления с благотворительной целью...

– И княгиня участвует? – перебил Аратов.

– Княгиня всегда в добрых делах участвует – но это ничего. Мы затеяли литературно-музыкальное утро... и на этом утре ты можешь услышать девушку... необыкновенную девушку! Мы еще не знаем хорошенько: Рашель она или Виардо?... потому что она и поет превосходно, и декламирует, и играет... Талант, братец ты мой, первоклассный! Без преувеличения говорю. Так вот... не возьмешь ли ты билет? Пять рублей, если в первом ряду.

– А откуда взялась эта удивительная девушка? – спросил Аратов.

Купфер осклабился.

– Уж этого я не могу сказать... В последнее время она приютилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всем таким покровительствует... Да ты ее, вероятно, видел на том вечере.

Аратов дрогнул – внутренне, слабо... но ничего не промолвил.

– Она даже играла где-то в провинции, – продолжал Купфер, – и вообще она создана для театра. Вот ты сам увидишь!

– Как ее имя? – спросил Аратов.

– Клара...

– Клара? – вторично перебил Аратов. – Не может быть!

– Отчего: не может быть? Клара... Клара Милич; это не настоящее ее имя... но ее так называют. Петъ она будет глинкинский романс... и Чайковского; а потом письмо из «Евгения Онегина» прочтет. Что ж? берешь билет?

– А когда это будет?

– Завтра... завтра в половине второго, в частной зале, на Остоженке... Я заеду за тобой. В пять рублей билет?.. Вот он... нет – это трехрублевый. Вот. Вот и афишка. Я один из распорядителей.

Аратов задумался. Платонида Ивановна вошла в эту минуту и, взглянув ему в лицо, вдруг перетревожилась.

– Яша, – воскликнула она, – что с тобою? Отчего ты такой смущенный? Федор Федорыч, что вы ему такое сказали?

Но Аратов не дал своему приятелю ответить на вопрос тетки – и, торопливо выхватив протянутый к нему билет, приказал Платониде Ивановне сейчас выдать Купферу пять рублей.

Та удивилась, глазами заморгала... Однако вручила Купферу деньги молча. Очень уж строго крикнул на нее Яшенька.

– Я тебе говорю, чудо из чудес! – воскликнул Купфер и бросился к дверям. – Жди меня завтра!

– У ней черные глаза? – промолвил ему вслед Аратов.

– Как уголь! – весело гаркнул Купфер и исчез.

Аратов ушел к себе в комнату, а Платонида Ивановна так и осталась на месте, шепотом повторяя: «Помози, господи! Господи, помози!»

IV

Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями, когда Аратов с Купфером прибыли туда. В этой зале давались иногда театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Учредители «утра» ограничились тем, что воздвигнули на одном конце эстраду, поставили на ней фортепиано, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан – да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам. В первом ряду уже сидела княгиня в ярко-зеленом платье; Аратов поместился в некотором от нее расстоянии, едва обменявшись с ней поклоном. Публика была, что называется, разношерстная; все больше молодые люди из учебных заведений. Купфер, как один из распорядителей, с белым бантом на обшлагах фрака, суетился и хлопотал изо всех сил; княгиня видимо волновалась, оглядывалась, посылала во все стороны улыбки, заговаривала с соседями... около нее были одни мужчины. Первым на эстраде явился флейтист чахоточного вида и престарательно проплывал... то бишь! просвистал пьеску тоже чахоточного свойства; два человека закричали: «Браво!» Потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный и даже угрюмый, прочел басом щедринский очерк; хлопали очерку, не ему; потом явился фортепианист, уже знакомый Аратову, и пробарабанил ту же листовскую фантазию; фортепианист удостоился вызова. Он кланялся, опершись рукою на спинку стула, и после каждого поклона взмахивал волосами, совсем как Лист! Наконец, после довольно долгого промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, распахнулось широко – и появилась Клара Милич. Зала огласилась рукоплесканиями. Нерешительными шагами подошла она к передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложив перед собою большие красивые руки без перчаток, не приседая, не наклоняя головы и не улыбаясь.

Это была девушка лет девятнадцати, высокая, несколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, точно каменный, лоб, крошечные уши... все лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная, но даровитая – сказывалась во всем.

Она некоторое время не поднимала глаз, но вдруг встрепенулась и провела по рядам зрителей свой пристальный, но невнимательный, словно в себя углубленный взгляд... «Какие у нее трагические глаза!» – заметил сидевший позади Аратова некий седоволосый фат с лицом кокотки из Ревеля, известный по Москве сотрудник и соглядатай. Фат был глуп и хотел сказать глупость... а сказал правду! Аратов, который с самого появления Клары не спускал с нее взора, только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини; и не только видел ее, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными, пристальными глазами. Да и теперь... или это ему показалось? – она, увидав его в первом ряду, как будто обрадовалась, как будто покраснела – и опять настойчиво посмотрела на него. Потом она, не оборачиваясь, отступила шага два в направлении фортепиано, за которым уже сидел ее аккомпаниатор, длинноволосый чужестранец. Ей приходилось исполнить романс Глинки: «Только узнал я тебя...» Она тотчас начала петь, не переменяя положения рук и не глядя в ноты. Голос у ней был звучный и мягкий – контральто – слова она выговаривала отчетливо и веско, пела однообразно, без оттенков, но с сильным выражением. «С убеждением поет девка», – промолвил тот же фат, сидевший за спиной Аратова, – и опять сказал правду. Крики: «Bis! bravo!» раздались кругом... но она бросила быстрый взгляд на Аратова, который не кричал и не хлопал – ему не особенно понравилось ее пение, – слегка поклонилась и ушла, не приняв подставленной калачиком руки волосатого пианиста. Ее вызвали... Она не

скоро появилась, теми же нерешительными шагами подошла к фортепиано – и, шепнув слова два аккомпаниатору, которому пришлось достать и положить перед собою не приготовленные, а другие ноты, – начала романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...» Этот романс она спела иначе, чем первый, – вполголоса, словно усталая... и только на предпоследнем стихе: «Поймет, как я страдал» – у нее вырвался звенящий, горячий крик. Последний стих «И как я страдаю...» – она почти прошептала, горестно растянув последнее слово. Романс этот произвел меньшее впечатление на публику, чем глинкавский; однако хлопанья было много... Особенно отличался Купфер: складывая ладони при ударе особым манером, в виде бочонка, он производил необыкновенно гулкий звук. Княгиня передала ему большой растрепанный букет с тем, чтобы он преподнес его певице; но она словно не заметила наклоненной фигуры Купфера, его вытянутой с букетом руки, повернулась и ушла, вторично не дождавшись пианиста, который поспешнее прежнего вскочил, чтобы ее проводить, – и, оставшись ни при чем, так взмахнул волосами, как, вероятно, сам Лист никогда не взмахивал!

Во все время пения Аратов наблюдал лицо Клары. Ему казалось, что глаза ее, сквозь прищуренные ресницы, были обращены опять-таки на него; но его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей – и только при ее страстном вскрике он заметил, как сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов. Купфер подошел к нему.

– Ну что, брат, как ты находишь? – спросил он, весь сияя удовольствием.

– Голос хороший, – ответил Аратов, – но она петь еще не умеет, настоящей школы нет. (Почему он это сказал и какое он сам имел понятие о «школе» – господь ведает!)

Купфер удивился.

– Школы нет, – повторил он с расстановкой... – Ну, это... Она еще подучиться может. Зато какая душа! Да вот погоди: ты ее в письме Татьяны слушаешь.

Он отбежал прочь от Аратова, а тот подумал: «Душа! С таким неподвижным лицом!» Он находил, что она и держится и движется, как намагнетизированная, как сомнамбула. И в то же время она несомненно... да! несомненно смотрит на него.

Между тем «утро» продолжалось. Толстый человек в очках появился опять; несмотря на свою серьезную наружность, он воображал себя комиком – и прочел сцену из Гоголя, не вызвавши на этот раз ни единого знака одобрения. Промелькнул опять флейтист, прогремел опять пианист; двенадцатилетний мальчик, напояженный и завитой, но со следами слез на щеках, пропиликал какие-то вариации на скрипке. Станным могло показаться то, что в промежутках чтения и музыки из комнаты артистов изредка доносились отрывистые звуки валторны; между тем этот инструмент так и остался без употребления. Впоследствии выяснилось, что любитель, вызвавшийся поиграть на нем, заробел в момент выхода перед публику. Вот, наконец, опять появилась Клара Милич.

Она держала в руке томик Пушкина; однако во время чтения ни разу в него не заглянула... Она явно робела; небольшая книжка слегка дрожала в ее пальцах. Аратов заметил также выражение унылости, разлитое *теперь* по всем ее строгим чертам. Первый стих: «Я к вам пишу... чего же боле?» – она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно – и с наивным, искренним, беспомощным жестом протянула обе руки вперед. Потом она стала немного спешить; но уже начиная со стихов: «Другой!.. Нет! Никому на свете не отдала бы сердца я!» – она овладела собою, оживилась – и когда она дошла до слов: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», – ее до тех пор довольно глухой голос зазвенел восторженно и смело – а глаза ее так же смело и прямо вперились в Аратова. С таким же увлечением продолжала она – и только к концу голос ее опять понизился, и в нем и на лице отразилась прежняя унылость. Последнее четверостишие она совсем, как говорится, скомкала – томик Пушкина вдруг выскользнул из ее рук, – и она поспешно удалилась.

Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать... Один семинарист из малороссов, между прочим, так громогласно орал: «Мылыч! Мылыч!» – что его сосед вежливо, с участием попросил его «пощадить в себе будущего протодьякона!». Но Аратов тотчас встал и направился к выходу. Купфер нагнал его...

– Помилуй, куда же ты? – возопил он, – хочешь, я тебя представлю Кларе?

– Нет, спасибо, – торопливо возразил Аратов – и почти бегом пустился домой.

V

Странные, ему самому неясные ощущения волновали его. В сущности, чтение Клары тоже не совсем ему понравилось... хотя он и не мог себе отдать отчета: почему именно? Оно его беспокоило, это чтение; оно казалось ему резким, негармоническим... Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды – к чему они? Что они значат?

Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть!.. Да и он сам совсем не такую представлял себе ту, еще неведомую женщину, ту девушку, которой он отдастся весь, которая и его полюбит, станет его невестой, его женой... Он редко мечтал об этом: он и душой и телом был девственник; но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом – образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет которой он сохранял как святыню. Портрет этот был писан акварелью, довольно неискусно, приятельницей-соседкой; несходство, по уверенью всех, было поразительное. Такой же нежный профиль, такие же добрые, светлые глаза, такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение должна была иметь та женщина, та девушка, которой он даже еще не осмеливался ожидать...

А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, наверно, недобрая, взбалмошная... «Цыганка» (Аратов не мог придумать худшего выражения), – что она ему?

И между тем Аратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку, – пение и чтение и самая наружность которой ему не нравились. Он недоумевал, он сердился на себя. Незадолго перед тем он прочел роман Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды» (полное собрание сочинений Вальтера Скотта находилось в библиотеке его отца, который уважал в английском романисте серьезного, чуть не научного писателя). Героиня этого романа называется Клара Мобрай. Поэт сороковых годов, Красов, написал на нее стихотворение, оканчивающееся словами:

Несчастливая Клара! безумная Клара!
Несчастливая Клара Мобрай!

Аратов знал также это стихотворение... И вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память... «Несчастливая Клара! безумная Клара!..» (Оттого он и удивился так, когда Купфер назвал ему Клару Милич.) Сама Платоша заметила – не то чтобы перемену в настроении Якова, – в нем, собственно, никакой перемены не произошло, – а что-то неладное в его взглядах, в его речах. Она осторожно расспросила его о литературном утре, на котором он присутствовал; пошептала, повздыхала, поглядела на него спереди, поглядела сбоку, сзади – и вдруг, хлопнув ладонями себе по ляжкам, воскликнула:

– Ну, Яша! Я вижу, в чем дело!

– Что такое? – переспросил Аратов.

– Ты, наверное, на этом утре встретил какую-нибудь из этих хвостовозок... (Платонида Ивановна называла так всех барынь, носящих модные платья.) Рожица у ней смазливая – и *так* она ломается, и *сяк* кривляется (Платоша представила все это в лицах), и глазами такие круги описывает (и это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху)... Тебе с непривычки и показалось... но ведь это ничего, Яша... ни-и-чего не значит! Выпей чайку на ночь... и конец!.. Господи, помози!

Платоша умолкла и удалилась... Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную речь... а Аратов подумал: «Тетка-то, чай, права... С непривычки все это... (Ему дей-

ствительно в первый раз пришлось возбудить к себе внимание особы женского пола... во всяком случае он этого прежде не замечал.) Баловать себя не надо».

И он принялся за свои книги, а на ночь напился липового чаю – и даже спал хорошо всю эту ночь – и снов не видел. На следующее утро он опять как ни в чем не бывало занялся фотографией...

Но к вечеру его душевный покой возмутился снова.

VI

А именно: рассыльный принес ему записку следующего содержания, написанную неправильным и крупным женским почерком:

«Если Вы догадываетесь, кто Вам пишет, и если это Вам не скучно, приходите завтра после обеда на Тверской бульвар – около пяти часов – и ждите. Вас задержат недолго. Но это очень важно. Придите».

Подписи не было. Аратов тотчас догадался, кто была его корреспондентка, – и это именно его возмутило. «Что за вздор! – промолвил он почти вслух, – этого еще недоставало. Разумеется, я не пойду». Он, однако, велел позвать рассыльного, от которого узнал только то, что письмо ему было вручено горничной на улице. Отпустив его, Аратов перечел письмо, бросил его на пол... Но погода немного поднял и опять перечел; вторично воскликнул: «Вздор!» – однако на пол письма уже не бросил, а спрятал в ящик. Аратов принялся за свои обычные занятия, то за одно, то за другое; но дело у него не спорилось и не клеилось. Он вдруг заметил за самим собою, что ожидает Купфера! Хотел ли он расспросить его или, быть может, даже сообщить ему... Но Купфер не являлся. Потом Аратов достал Пушкина, прочел письмо Татьяны и снова убедился, что та «цыганка» совсем не поняла настоящего смысла этого письма. А этот шут Купфер кричит: «Рашель! Виардо!» Потом он подошел к своему пианино, как-то бессознательно приподнял его крышку, попытался отыскать на память мелодию романса Чайковского; но тотчас же с досадой захлопнул пианино и пошел к тетке, в ее особенную, всегда жарко натопленную комнату, с вечным запахом мяты, шалфея и других целебных трав и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно и дышать стеснительно. Платонида Ивановна сидела под окном со спицами в руках (она вязала Яшеньке шарф, счетом в течение его жизни – тридцать восьмой!) – и очень изумилась. Аратов заходил к ней редко и, если ему было что нужно, всякий раз кричал тоненьким голосом из своего кабинета: «Тетя Платоша!» Однако она его усадила и в ожидании его первых слов насторожилась, глядя на него одним глазом через круглые очки, другим выше их. Она не осведомилась о его здоровье и не предложила ему чай, ибо видела, что он пришел не за тем. Аратов немного помялся... потом заговорил... заговорил о своей матери, о том, как она жила с отцом и как отец с ней познакомился. Все это он знал очень хорошо... но ему хотелось говорить именно об этом. На его беду, Платоша совсем беседовать не умела; отвечала очень кратко, словно она подозревала, что и не за этим пришел Яша.

– Что ж! – повторяла она, поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами. – Известно: мать твоя была голубка... голубка, как есть... И отец твой любил ее, как следует мужу, верно и честно, по самый гроб; и никакой другой женщины он не любил, – прибавила она, возвысив голос и сняв очки.

– А робкого она была нрава? – спросил, помолчав, Аратов.

– Известно, робкого. Как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись.

– А в ваше время смелых не было?

– Было и в наше... как не быть! Да ведь кто? Так, потаскушка какая-нибудь, бесстыжая. Зашлюндает подол – да и мечется зря... Ей что? Какая печаль? Подвернется дурачок – ей и на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал?

Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет. Платонида Ивановна посмотрела ему вслед, покачала головою и опять надела очки, опять взялась за шарф... но не раз задумывалась и роняла спицы на колени.

А Аратов до самой ночи – нет-нет да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о «цыганке», о назначенном свидании, на которое он наверное не пойдет! И ночью она его беспокоила. Ему все мерещились ее глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом, – и эти неподвижные черты с их властительным выражением...

На следующее утро он опять почему-то все ожидал Купфера; чуть-чуть было не написал ему письма... а впрочем, ничего не делал... все больше расхаживал по своему кабинету. Он ни на одно мгновение не допускал в себе даже мысли, что пойдет на этот глупый «рандеву»... и в половине четвертого часа, после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинель и нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар.

VII

Аратов застал на нем немного прохожих. Погода стояла сырая и довольно холодная. Он старался не размышлять о том, что делал, заставлял себя обращать внимание на все попадавшиеся предметы и как бы уверял себя, что и он так же вышел погулять, как и те прохожие... Вчерашнее письмо находилось у него в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру, – и сердце его билось, билось... Он почувствовал усталость и присел на лавочку. И вдруг ему пришло в голову: «Ну, а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной?» По-настоящему, это для него должно было быть все едино... и, однако же, он должен был самому себе признаться, что этого он не желал. «Уж очень было бы глупо, – подумалось ему, – еще глупей *того!*» Нервное беспокойство начинало овладевать им; он стал зябнуть – не извне, а изнутри. Он несколько раз вынул часы из кармана жилета, глядел на циферблат, клал их обратно и всякий раз забывал, сколько оставалось минут до пяти часов. Ему казалось, что все мимо идущие как-то особенно, с каким-то насмешливым удивлением и любопытством оглядывали его. Дрянная собачонка подбежала, понюхала его ноги и стала вертеть хвостом. Он сердито на нее замахнулся. Дольше всех надоедал ему фабричный мальчик, в затрапезном халате, который уселся на скамье, по той стороне бульвара – и, то посвистывая, то почесываясь и болтая ногами в громадных прорванных сапогах, то и дело посматривал на него. „Ведь вот, – думал Аратов, – хозяин наверное его ждет – а он тут, лентяй, баклуши бьет...“

Но в это самое мгновение ему почудилось, что кто-то подошел и близко стал сзади его... чем-то теплым повеяло оттуда...

Он оглянулся... Она!

Он тотчас узнал ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ее черты. Он мгновенно вскочил со скамьи – да так и остался, и слова не мог промолвить. Она тоже молчала. Он чувствовал большое смущение... но и ее смущение было не меньше: Аратов даже сквозь вуаль не мог не заметить, как мертвенно она побледнела. Однако она заговорила первая.

– Спасибо, – начала она прерывистым голосом, – спасибо, что пришли. Я не надеялась... – Она слегка отвернулась и пошла по бульвару. Аратов отправился вслед за нею.

– Вы, может быть, меня осудили, – продолжала она, не оборачивая головы. – Действительно, мой поступок очень странен... Но я много слышала о вас... да нет! Я... не по этой причине... Если б вы знали... Я так много хотела вам сказать, боже мой!.. Но как это сделать... Как это сделать!

Аратов шел с ней рядом, немного позади. Он не видел ее лица; он видел только ее шляпу да часть вуали... да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее и на себя вдруг к нему вернулась; все смешное, все нелепое этого свидания, этих объяснений между совершенно незнакомыми людьми, на публичном бульваре, предстало ему вдруг.

– Я явился на ваше приглашение, – начал он в свою очередь, – явился, милостивая государыня (ее плечи тихонько дрогнули – она свернула на боковую дорожку – он последовал за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому, который... который потому только и *догадался*, – как вы выразились в вашем письме, – что писали ему именно вы... потому догадался, что вам, в течение того литературного утра, захотелось выказать ему слишком... слишком явное внимание!

Вся эта небольшая речь была произнесена Аратовым тем, хоть и звонким, но нетвердым голосом, каким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились... Он сердился; он гневался... Этот-то самый гнев и развязал его в обыкновенное время не очень свободный язык.

Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами... Аратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел одну эту старенькую мантилью да шляпку, тоже не совсем новую. Самолюбие его страдало при мысли, что вот теперь она должна думать: «Мне стоило только знак подать – и он тотчас прибежал!»

Аратов молчал... он ожидал, что она ему ответит; но она не произносила ни слова.

– Я готов выслушать вас, – начал он опять, – и очень даже буду рад, если могу быть вам чем-нибудь полезен... хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно... При моей уединенной жизни...

Но при последних его словах Клара внезапно к нему обернулась – и он увидел такое испуганное, такое глубоко опечаленное лицо, с такими светлыми большими слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ – и так было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто вроде испуга – и сожаления и умиления.

– Ах, зачем... зачем вы так... – промолвила она с неотразимо искренней и правдивой силой – и как трогательно зазвенел ее голос! – Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас... неужели вы ничего не поняли?... Ах да! Вы не поняли ничего, вы не поняли, что я вам говорила, вы бог знает что вообразили обо мне, вы даже не подумали, чего мне это стоило – написать вам!.. Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое!.. Да разве я (она так сильно стиснула свои поднесенные к губам руки, что пальцы явственно хрустнули)... Точно я какие требования к вам предъявляла, точно нужны были сперва разъяснения... «Милостивая государыня...», «мне даже удивительно...», «я могу быть полезным...» Ах я безумная! Я обманулась в вас, в вашем лице! Когда я увидела вас в первый раз... Вот... Вы стоите... И хоть бы слово! Так-таки ни слова?

Она умолкла... Лицо ее внезапно вспыхнуло – и так же внезапно приняло злое и дерзкое выражение.

– Господи! как это глупо! – воскликнула она вдруг с резким хохотом. – Как наше свидание глупо! Как я глупа!.. да и вы... Фуй!

Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги, и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла.

Это движение рукою, этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили Аратову его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда с слезами на глазах она к нему обратилась. Он опять рассердился – и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: «Из вас может выйти хорошая актриса – но зачем вы вздумали надо мной-то комедию ломать?»

Большими шагами вернулся он домой, – и хотя продолжал и досадовать и негодовать в течение всей дороги, однако в то же время сквозь все эти нехорошие, враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг... Он даже поставил себе вопрос: «Отчего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слово? Я не успел... – думал он... – Она мне не дала произнести это слово. И какое слово я бы произнес?»

Но он тотчас тряхнул головою и с укоризной промолвил: «Актерка!»

И опять-таки в то же время – самолюбие неопытного, нервического юноши, сперва оскорбленное, теперь как будто было польщено тем, что вот, однако, какую он внушил страсть...

«Но зато в эту минуту, – продолжал он свои размышления, – все это, разумеется, конечно... Я должен был показаться ей смешным...»

Эта мысль ему была неприятна – и он снова сердился... и на нее... и на себя. Возвратившись домой, он заперся в своем кабинете. Ему не хотелось видиться с Платошей. Добрая старушка раза два подходила к его двери – прикладывалась ухом к замочной скважине – и только вздыхала да шептала свою молитву...

«Началось! – думалось ей... – А ему всего двадцать пятый год... Ах, рано, рано!»

VIII

Весь следующий день Аратов был очень не в духе. «Что это, Яша? – говорила ему Платонида Ивановна, – ты сегодня какой-то растрепанный?!» На своеобразном языке старушки выражение это довольно верно определяло нравственное состояние Аратова. Работать он не мог, да и сам не знал, чего ему желалось? То он опять поджидал Купфера (он подозревал, что Клара именно от Купфера получила его адрес... да и кто другой мог ей «много говорить» о нем?); то он недоумевал: неужели так и должно кончиться его знакомство с нею? то он воображал, что она ему напишет опять; то он себя спрашивал, не следует ли ему написать ей письмо, в котором он все объяснит, так как он все же не желает оставить невыгодное о себе мнение... но, собственно – *что* объяснить? То он возбуждал в себе чуть не отвращение к ней, к ее назойливости, дерзости; то ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо и слышался неотразимый голос; то он припоминал ее пенье, ее чтение – и не знал: прав ли он был в своем огульном осуждении? Одним словом, растрепанный человек! Наконец это ему все надоело – и он решил, как говорится, «взять на себя» и *похерить* всю эту историю, так как она, несомненно, мешала его занятиям и нарушала его покой. Не так-то легко далось ему исполнить это решение... Более недели прошло, прежде чем он опять попал в обычную колею. К счастью, Купфер совсем не являлся: точно его и в Москве не было. Незадолго до «истории» Аратов начал заниматься живописью для фотографических целей; он с удвоенным рвением принялся за нее. Так, незаметно, с некоторыми, как выражаются доктора, «возвратными припадками», состоявшими, например, в том, что он раз чуть не отправился с визитом к княгине, – прошло два... прошло три месяца... и Аратов стал прежним Аратовым. Только там, внизу, под поверхностью его жизни, что-то тяжелое и темное тайно сопровождало его на всех его путях. Так большая, только что пойманная на крючок, но еще не выхваченная рыба плывет по дну глубокой реки под самой той лодкой, на которой сидит рыбак с крепкой лесой в руке.

И вот однажды, пробегая уже не совсем свежие «Московские ведомости», Аратов наткнулся на следующую корреспонденцию:

«С великим прискорбием, – писал некий местный литератор из Казани, – заносим мы в нашу театральную летопись весть о внезапной кончине нашей даровитой актрисы Клары Милич, успевшей в короткое время ее ангажемента сделаться любимицей нашей разборчивой публики. Прискорбие наше тем сильнее, что г-жа Милич самовольно покончила со своей молодой, столь много обещавшей жизнью, – посредством отравления. И это отравление тем ужаснее, что артистка приняла яд в самом театре! Ее едва довели домой, где она, к общему сожалению, скончалась. В городе ходят слухи, что неудовлетворенная любовь довела ее до этого страшного поступка».

Аратов тихонько положил номер газеты на стол. На вид он остался совершенно спокойным... но что-то разом толкнуло его в грудь и голову – и медленно поплыло потом по всем его членам. Он встал, постоял немного на месте – и опять сел, опять перечел эту корреспонденцию. Потом он опять встал, лег на кровать и, заложив руки за голову, как отуманенный, долго глядел на стену. Понемногу эта стена словно сгладилась... исчезла... и он увидел перед собою и бульвар под серым небом, и *ее* в черной мантилье... потом *ее* же на эстраде... увидел даже самого себя возле нее. То, что так сильно толкнуло его в грудь в первое мгновение, стало теперь подниматься... подниматься к горлу... Он хотел откашляться, хотел позвать кого-нибудь, но голос изменил ему – и, к собственному его изумлению, из его глаз неудержимо покатались слезы... Что вызвало эти слезы? Жалость? Раскаяние? Или просто нервы не выдержали внезапного потрясения? Ведь для него она была ничем? Не так ли?

«Да, может быть, это еще неправда? – вдруг осенила его мысль. – Надо узнать! Но от кого? От княгини? Нет, от Купфера... от Купфера! Да его, говорят, в Москве нет? Все равно! Сперва к нему надо!»

С этими соображениями в голове Аратов наскоро оделся, взял извозчика и поскакал к Купферу.

IX

Не надеялся он его застать... а застал. Купфер точно отлучался из Москвы на некоторое время, но уже с неделю как вернулся и даже снова собирался посетить Аратова. Он встретил его с обычным радушием и начал было ему что-то объяснять... но Аратов тотчас перебил его нетерпеливым вопросом:

– Ты читал? Правда?

– Что правда? – отвечал озадаченный Купфер.

– Насчет Клары Милич?

Лицо Купфера выразило сожаление.

– Да, да, брат, правда; отравилась! Такое горе!

Аратов помолчал.

– Да ты тоже в газете вычитал? – спросил он, – или, может быть, сам ездил в Казань?

– Я ездил в Казань точно; мы с княгиней ее туда отвезли. Она на сцену там поступила – и большой успех имела. Только до самой катастрофы я там не дожил... Я в Ярославле был.

– В Ярославле?

– Да. Я княгиню туда проводил... Она теперь в Ярославле поселилась.

– Но ты имеешь верные сведения?

– Вернейшие... из первых рук! Я в Казани с ее семейством познакомился. Да постой, брат... тебя, кажется, это известие очень волнует? А, помнится, тебе Клара тогда не понравилась? Напрасно! Чудная была девушка – только голова! Бедовая голова! Очень я о ней сокрушался!

Аратов не промолвил слова, опустился на стул – и погода немного попросил Купфера рассказать ему... Он запнулся.

– Что? – спросил Купфер.

– Да... все, – ответил с расстановкой Аратов. – Вот хоть насчет ее семейства... и прочего. Все, что знаешь!

– А это тебя интересует? Изволь!

И Купфер, по лицу которого вовсе нельзя было заметить, чтобы он уж очень так сокрушался о Кларе, начал рассказывать.

Из его слов Аратов узнал, что настоящее имя Клары Милич было Катерина Миловидова; что отец ее, теперь уже умерший, был штатным учителем рисования в Казани, писал плохие портреты и казенные *образы* – да к тому же слыл за пьяницу и за домашнего тирана... а еще *образованный человек!*.. (тут Купфер самодовольно засмеялся, намекая тем на сделанный им каламбур); что после него остались, во-первых: вдова из купеческого рода, совсем глупая баба, прямо из комедий Островского; а во-вторых: дочь, гораздо старше Клары и на нее не похожая – девушка очень умная, только восторженная, больная, замечательная девушка – и преразвитая, братец ты мой! Что живут они обе – и вдова и дочь – безбедно, в порядочном домике, приобретенном от продажи тех плохих портретов и образов; что Клара... или Катя, как хочешь, с детских лет поражала всех своей даровитостью, но нрава была непокорного, капризного – и постоянно грызлась с отцом; что, имея врожденную страсть к театру, на шестнадцатом году убежала из родительского дома с актрисой...

– С актером? – перебил Аратов.

– Нет, не с актером, а с актрисой, к которой привязалась... Правда, у этой актрисы был покровитель, богатый и уже старый барин, который потому только на ней не женился, что сам был женат, – да и актриса, кажется, была женщина замужняя. – Далее Купфер сообщил Аратову, что Клара уже до приезда в Москву играла и пела на провинциальных театрах; что, потев свою приятельницу актрису (барин тоже, кажется, умер или опять с женой сошелся – этого

Купфер хорошенько не помнил...), познакомилась с княгиней, этой золотой женщиной, которую ты, друг мой, Яков Андреич, – прибавил с чувством рассказчик, – не умел оценить как следует; что, наконец, Кларе предложили ангажемент в Казани – и что она его приняла, хотя перед тем уверяла, что Москвы никогда не покинет! Зато, как казанцы ее полюбили – даже удивительно! Что ни представление – букеты и подарок! букеты и подарок! Хлебный торговец, первый по губернии туз, тот даже золотую чернильницу преподнес! – Купфер рассказал все это с большим оживлением, не выказывая, впрочем, особой сентиментальности и перерывая речь вопросами: «Это тебе зачем?..» или: «Это на что?» – когда Аратов, слушавший его с пожирающим вниманием, требовал все больших да больших подробностей. Все было высказано наконец, и Купфер умолк, наградивши себя за труд сигаркой.

– А отчего же она отравилась? – спросил Аратов. – В газете напечатано...

Купфер взмахнул руками.

– Ну... этого я не могу сказать... Не знаю. А газета врет. Вела себя Клара примерно... амуров никаких... Да и где с ее гордостью! Горда она была – как сам сатана – и неприступна! Бедовая голова! Тверда, как камень! Веришь ли ты мне – уж на что я ее близко знал, а никогда на ее глазах слез не видел!

«А я видел», – подумал про себя Аратов.

– Только вот что, – продолжал Купфер, – в последнее время я большую перемену в ней заметил: скучная такая стала, молчит, по целым часам слова от нее не добьешься. Уж я ее спрашивал: не обидел ли кто вас, Катерина Семеновна? Потому я знал ее нрав: обиду перенести она не могла! Молчит, да и баста! Даже успехи на сцене ее не веселили; букеты сыплются... а она и не улыбнется! На золотую чернильницу взглянула раз – и в сторону! Жаловалась, что настоящей роли, как она ее понимает, никто ей не напишет. И петь совсем бросила. Я, брат, виноват!.. передал ей тогда, что ты в ней *школы* не находишь. Но все-таки... отчего она отравилась – непостижимо! Да и как отравилась!..

– В какой роли она... больше имела успеха? – Аратов хотел было узнать, в какой роли она выступила в последний раз, – но почему-то спросил другое.

– Помнится, в «Груне» Островского. Но повторяю тебе: амуров никаких! Ты одно посуди: жила она у матери в доме... Знаешь – есть такие купеческие дома: в каждом углу киот и лампадка перед киотом, духота смертельная, пахнет кислятиной, в гостиной по стенам одни стулья, на окнах ервань, а придет гость – хозяйка взахает, словно неприятель подступает. Какие уж тут ферлакуры да амурсы? Бывало, даже меня не пускают. Служанка ихняя, баба здоровенная, в кумачном сарафане, с отвислыми грудями, станет в передней поперек да и рычит: «Куды?» Нет, я решительно не понимаю, с чего она отравилась. Жить, значит, надоело, – философически заключил Купфер свои рассуждения.

Аратов сидел, потупя голову.

– Можешь ты мне дать адрес этого дома в Казани? – промолвил он наконец.

– Могу; но на что тебе? Или ты письмо туда послать хочешь?

– Может быть.

– Ну, как знаешь. Только старуха тебе не ответит, ибо безграмотна. Вот разве сестра... О, сестра умница! Но опять-таки удивляюсь, брат, тебе! Какое прежде равнодушие... а теперь какое внимание! Все это, любезный, от одиночества!

Аратов ничего не ответил на это замечание и ушел, запасшись казанским адресом.

Когда он ехал к Купферу, на лице его изображалось волнение, изумление, ожидание... Теперь он шел ровной походкой, с опущенными глазами, с надвинутой на лоб шляпой; почти каждый встречный прохожий провожал его пытливым взором... но он не замечал прохожих... не то что на бульваре!..

«Несчастливая Клара! безумная Клара!» – звучало у него на душе.

X

Однако следующий день Аратов провел довольно спокойно. Он даже мог предаться обычным занятиям. Одно только: и во время занятий, и в свободное время он постоянно думал о Кларе, о том, что ему накануне сказал Купфер. Правда, его думы были тоже довольно мирного свойства. Ему казалось, что эта странная девушка интересовала его с психологической точки зрения, как нечто вроде загадки, над разрешением которой стоило бы поломать голову. «Убежала с актрисой на содержании, – думалось ему, – отдалась под покровительство этой княгини, у которой, кажется, жила – и никаких *амуров*? Неправдоподобно!.. Купфер говорит: гордость! Но, во-первых, мы знаем (Аратову следовало сказать: мы вычитали в книгах)... мы знаем, что гордость уживается с легкомысленным поведением; а во-вторых, как же она, такая гордая, назначила свидание человеку, который мог оказать ей презрение... и оказал... да еще в публичном месте... на бульваре!» Тут Аратову вспомнилась вся сцена на бульваре – и он спросил себя: «Точно ли он оказал Кларе презрение? Нет, – решил он... – Это было другое чувство... чувство недоумения... недоверчивости наконец! Несчастная Клара! – снова прозвучало у него в голове. – Да, несчастная, – решил он опять... – Это самое подходящее слово. А коли так – я был несправедлив. Она верно сказала, что я ее не понял. Жаль! Такое, быть может, замечательное существо прошло так близко мимо... и я не воспользовался, я оттолкнул... Ну, ничего! Жизнь еще вся впереди. Пожалуй, еще не такие случатся встречи!

Но с какой стати она именно *меня* выбрала? – Он взглянул на зеркало, мимо которого проходил. – Что во мне особенного? И какой я красавец? – Так лицо... как все лица... Впрочем, и она не красавица.

Не красавица... а какое выразительное лицо! Неподвижное... а выразительное! Я такого лица еще не встречал. И талант у ней есть... то есть был, несомненный. Дикий, неразвитый, даже грубый... но несомненный. И в этом случае я был к ней несправедлив. – Аратов мысленно перенесся на литературно-музыкальное утро... и сам заметил за собою, что он чрезвычайно ясно вспоминал каждое пропетое и сказанное ею слово, каждую интонацию... – Этого бы не случилось, если б она была лишена таланта.

И теперь все это в могиле, куда она сама себя толкнула... Но я тут ни при чем... Я не виноват! Было бы даже смешно думать, что я виноват. – Аратову опять пришло в голову, что если бы даже и было у ней «что-нибудь такое» – его поведение во время свидания, несомненно, ее разочаровало... Оттого-то она так жестоко и рассмеялась на прощание. – Да и где доказательство, что она отравилась от несчастной любви? Это одни газетные корреспонденты всякую подобную смерть приписывают несчастной любви! Людям с таким характером, как у Клары, жизнь легко становится постылой... скучной. Да, скучной. Купфер прав: просто ей надоело жить.

Несмотря на успехи, на овации?»

Аратов задумался. Ему даже приятен был психологический анализ, которому он предавался. Чуждый до сих пор всякого соприкосновения с женщинами, он и не подозревал, как знаменательно было для него самого это напряженное разбирательство женской души.

«Значит, – продолжал он свои размышления, – искусство не удовлетворяло ее, не наполняло пустоты ее жизни. Настоящие художники только и существуют для художества, для театра... Все остальное бледнеет перед тем, что они считают своим призванием... Она была дилетантка!»

Тут Аратов опять задумался. Нет, слово «дилетантка» не вязалось с тем лицом, с выражением того лица, тех глаз...

И перед ним опять всплыл образ Клары с устремленным на него, залитым слезами взором, с приподнятыми к губам стиснутыми руками...

– Ах, не надо, не надо... – прошептал он... – К чему?

Так прошел целый день. За обедом Аратов много разговаривал с Платошей, расспрашивал ее о старине, которую она, впрочем, и помнила и передавала плохо, так как не очень-то владела языком и, кроме своего Яши, в течение своей жизни почти ничего не замечала. Она только радовалась тому, что вот он какой сегодня добрый да ласковый! К вечеру Аратов затих до того, что сыграл несколько раз с теткой в свои козыри.

Так прошел день... – зато ночь!!

XI

Началась она хорошо; он скоро заснул – и когда тетка вошла к нему на цыпочках, чтобы трижды перекрестить его спящего – она это делала каждую ночь, – он лежал и дышал спокойно, как дитя. Но перед зарею ему привиделся сон.

Ему снилось: он шел по голой степи, усеянной камнями, под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней.

Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос... их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он ни торопился – она шла проворнее его.

На тропинке лежал широкий, плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу... Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась – но он все-таки не увидал ее глаз... они были закрыты. Лицо ее было белое, белое как снег; руки висели неподвижно. Она походила на статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плиту... И вот Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние – и руки его сложены, как у мертвеца.

Но тут женщина вдруг приподнялась – и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться... но ни пошевелиться, ни разжать рук он не может – и только с отчаяньем глядит ей вслед.

Тогда женщина внезапно обернулась – и он увидел светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою... а он все не может пошевелиться...

Она засмеялась еще раз – и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалел венок из маленьких роз.

Аратов силится закричать, силится нарушить этот страшный кошмар...

Вдруг все кругом потемнело... и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя... это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки – и строго и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты – но Аратову чудится, что он слышит слова:

«Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!...»

«Куда?» – спрашивает он.

«Туда!» – слышится стонящий ответ. – Туда!»

Аратов проснулся.

Он приподнялся в постели, зажег свечку, стоявшую на ночном столике, но не встал – и долго сидел, весь похолодевший, медленно осматриваясь кругом. Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег; что в него что-то внедрилось... что-то завладело им. «Да разве это возможно? – шептал он бессознательно. – Разве существует такая власть?»

Он не мог остаться в постели. Он тихонько оделся – и до утра пробродил по комнате. И странное дело! О Кларе он не думал ни минуты – и не думал оттого, что решился на другой же день ехать в Казань!

Он думал только об этой поездке; о том, как это сделать, и что с собою взять, и как он там все разыщет и узнает – и успокоится. «Не поедешь, – рассуждал он сам с собою, – пожалуй, с ума сойдешь!» Он боялся этого; боялся своих нервов. Он был уверен, что, как только он там «все это» увидит воочию, всякие наваждения разлетятся – как тот ночной кошмар. «И всего-то на поездку пойдет неделя... – думал он, – что такое неделя? а иначе не отделаешься».

Вставшее солнце осветило его комнату; но свет дневной не разогнал налегших на него ночных теней и не изменил его решения.

С Платошей чуть не сделался удар, когда он сообщил ей это решение. Она даже на корточки присела... ноги у ней подкосились. «Как в Казань? зачем в Казань?» – шептала она,

выпучив и без того слепые глаза. Она бы не больше удивилась, если б узнала, что ее Яша женится на соседней булочнице или уезжает в Америку.

– И надолго в Казань?

– Я через неделю вернусь, – отвечал Аратов, стоя в полуоборот к тетке, все еще сидевшей на полу.

Платонида Ивановна хотела еще возражать – но Аратов совершенно неожиданным и необыкновенным образом закричал на нее.

– Я не ребенок, – закричал он и весь побледнел, и губы его задрожали, и глаза сверкнули злобно. – Мне двадцать шестой год, я знаю, что делаю, – я волен делать, что хочу! Я никому не позволю... Дайте мне денег на дорогу, приготовьте чемодан с бельем и платьем... и не мучьте меня! Я через неделю вернусь, Платоша, – прибавил он более мягким голосом.

Платоша приподнялась кряхтя и, уже не возражая более, поплелась в свою комнатку. Яша испугал ее. «Не голова у меня на плечах, – говорила она кухарке, помогавшей ей укладывать Яшины вещи, – не голова, а улей... и какие там пчелы жужжат – не знаю. В Казань уезжает, мать моя, в Каза-ань!» Кухарка, видевшая накануне, что дворник их о чем-то долго беседовал с городовым, хотела было доложить об этом обстоятельстве своей госпоже – да не посмела и только подумала: «В Казань? Как бы не подальше куда-нибудь!» А Платонида Ивановна до того растерялась, что даже обычной молитвы своей не произносила. В такой беде и господь бог помочь не мог!

В тот же день Аратов уехал в Казань.

XII

Не успел он прибыть в этот город и занять номер в гостинице – как уже бросился отыскивать дом вдовы Миловидовой. Во время всего путешествия он находился в каком-то оцепенении, что, впрочем, нисколько не мешало ему принимать все нужные меры, в Нижнем Новгороде перебраться с железной дороги на пароход, кушать на станциях и т. п. Он по-прежнему был уверен, что *там* все разрешится – и потому отгонял от себя всякие воспоминания и соображения, удовлетворяясь одним: мысленным приготовлением того *спича*, в котором он изложит перед семейством Клары Милич настоящую причину своей поездки. Вот он наконец добрался до цели своего стремленья, велел о себе доложить. Его впустили... с недоумением и испугом – но впустили.

Дом вдовы Миловидовой оказался действительно таким, каким описал его Купфер; и сама вдова точно походила на одну из купчих Островского, хотя была чиновница: муж ее состоял в чине коллежского асессора. Не без некоторого затруднения Аратов, предварительно извинясь в своей смелости, в странности своего посещения, произнес приготовленный спич о том, как бы ему хотелось собрать все нужные сведения о столь рано погибшей даровитой артистке; как им руководит в этом случае не праздное любопытство, а глубокое сочувствие к ее таланту, которого он был поклонником (он так и сказал: поклонником); как, наконец, было бы грешно оставить публику в неведении о том, что она потеряла – и почему не сбылись ее надежды! Г-жа Миловидова не прерывала Аратова; она едва ли хорошо понимала, что такое ей говорит этот незнакомый гость, – и только пучилась слегка и таращила на него глаза, находя, однако, что вид у него смирный, одет он прилично – и не мазурик какой... денег не попросит.

– Вы это о Кате? – спросила она, как только Аратов умолк.

– Точно так... о вашей дочери.

– И вы для этого из Москвы приехали?

– Из Москвы.

– Только для этого?

– Для этого.

Г-жа Миловидова вдруг встрепенулась.

– Да вы – сочинитель? В журналах пишете?

– Нет, я не сочинитель – и в журналах до сих пор не писал.

Вдова наклонила голову. Она недоумевала.

– Стало быть... по собственной охоте? – спросила она вдруг.

Аратов не тотчас нашелся, что ответить.

– По сочувствию, из уважения к таланту, – промолвил он наконец.

Слово «уважение» понравилось г-же Миловидовой.

– Что ж!.. – произнесла она со вздохом. – Я хоть и мать ее – и очень о ней горевала... Ведь такое вдруг несчастье!.. Но должна сказать: шальная она была всегда – и покончила таким же манером!.. Страм такой... Посудите: каково это для матери? Уж на том спасибо, что похоронили ее по-христиански... – Г-жа Миловидова перекрестилась. – Сызмала она никому не покорялась – родительский дом покинула... и наконец – легко сказать! – в актерки пошла! Известно: от дому я ей не отказала: ведь я любила ее! Ведь я все-таки мать! Не у чужих же ей жить – да побираться!.. – Тут вдова прослезилась. – А если у вас, господин, – заговорила она снова, утирая глаза концами косынки, – точно есть такое намерение и вы против нас никакого бесчестия не замышляете – а, напротив, хотите внимание оказать – так вы вот с моей другой дочкой поговорите. Она все вам расскажет лучше моего... Анночка! – кликнула г-жа Миловидова, – Анночка, подь сюда! Вот здесь какой-то господин из Москвы насчет Кати побеседовать желает!

Что-то стукнуло в соседней комнате, но никто не появлялся.

– Анночка! – крикнула опять вдова, – Анна Семеновна! Иди, говорят тебе!

Дверь тихонько растворилась, и на пороге показалась девушка, уже немолодая, болезненного вида и некрасивая – но с очень кроткими и грустными глазами. Аратов поднялся с места ей навстречу и отрекомендовался, причем назвал своего друга Купфера.

– А! Федор Федорыч! – тихонько произнесла девушка и тихонько опустилась на стул.

– Ну вот, побеседуй с господином, – промолвила г-жа Миловидова, грузно поднимаясь с места, – потрудился, нарочно из Москвы приехал, – о Кате сведения собрать желает. А вы меня, господин, – прибавила она, обращаясь к Аратову, – извините... Я уйду, по хозяйству. С Анночкой вы можете хорошо объясниться – она вам и о театре расскажет... и все такое. Она у меня умница, образованная: по-французски говорит и книжки читает, не хуже сестры ее покойницы. Она же ее, можно сказать, воспитывала... Старше ее была – ну, и занялась.

Г-жа Миловидова удалилась. Оставшись наедине с Анной Семеновной, Аратов повторил ей свой спич; но с первого же взгляду поняв, что имеет дело с девушкой действительно образованной, не с купеческой дочкой, – несколько распространился и выражения другие употребил; а под конец сам разволновался, покраснел и почувствовал, что сердце у него застучало. Анна слушала его молча, положив руку на руку; печальная улыбка не сходила с ее лица... горькое, непереболевшее горе сказывалось в этой улыбке.

– Вы знали мою сестру? – спросила она Аратова.

– Нет; я ее собственно не знал, – отвечал он. – Виделся с нею и слышал ее раз... но вашу сестру стоило раз увидеть и услышать...

– Вы хотите ее биографию написать? – спросила опять Анна.

Аратов не ожидал этого слова; однако тотчас же ответил, что – отчего же нет? Но главное, он хотел познакомить публику...

Анна остановила его движением руки.

– Это на что же? Публика ей без того много горя наделала; да и Катя только что начинала жить. Но если вы сами (Анна посмотрела на него и опять улыбнулась той же печальной, но уже более приветной улыбкой... она как будто подумала: да, ты внушаешь мне доверие)... если вы сами питаете к ней такое участие, то позвольте вас попросить прийти к нам сегодня вечером... после обеда. Я теперь не могу... так вдруг... Я соберусь с силами... Я попытаюсь... Ах, я слишком любила ее.

Анна отвернулась; она готова была зарыдать.

Аратов проворно поднялся со стула, поблагодарил за предложение, сказал, что придет непременно... непременно! – и ушел, унося в душе впечатление тихого голоса, кротких и грустных глаз – и сгорая томленьем ожидания.

XIII

Аратов в тот же день вернулся к Миловидовым и целых три часа пробеседовал с Анной Семеновной. Г-жа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда – в два часа – и «отдыхала» до вечернего чаю, до семи часов. Разговор Аратова с сестрою Клары не был собственно беседой: она говорила почти одна, сперва с запинкой, с смущением, но потом с неудержимым жаром. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Доверие, внушенное ей Аратовым, росло и крепло; она уже не стеснялась; она даже раза два, молча, всплакнула перед ним. Он казался ей достойным ее откровенных сообщений и излияний... в ее собственной глухой жизни ничего такого еще не случилось!.. А он... он впивал каждое ее слово.

Вот что он узнал... многое, конечно, из недомолвок... многое он дополнил сам.

В детстве Клара была, несомненно, неприятным ребенком; и в девушках она была немногим мягче: своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно с отцом, которого презирала – и за пьянство и за бездарность. Он это чувствовал и не прощал ей этого. Музыкальные способности в ней оказались рано; отец не давал им ходу, признавая художеством одну живопись, в которой так мало сам преуспел, но которая кормила и его и семью. Мать свою Клара любила... небрежно, как няню; сестру обожала, хоть и дралась с ней и кусала ее... Правда, она потом становилась на колени перед нею и целовала укушенные места. Она была вся – огонь, вся – страсть и вся – противоречие: мстительна и добра, великодушна и злопаметна; верила в судьбу – и не верила в бога (эти слова Анна прошептала с ужасом); любила все красивое, а сама о своей красоте не заботилась и одевалась как попало; терпеть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала только те страницы, где речь идет о любви; не хотела нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала, как и не забывала оскорбления; боялась смерти и сама себя убила! Она говаривала иногда: «Такого, как я хочу, я не встречу... а других мне не надо!» – «Ну а если встретишь?» – спрашивала Анна. «Встречу... возьму». – «А если не дастся?» – «Ну, тогда... с собой покончу. Значит, не гожусь». Отец Клары (он иногда с пьяных глаз спрашивал у жены: «От кого у тебя этот бесенок черномазый? – не от меня!») – отец Клары, стараясь ее сбить поскорее с рук, просватал было ее за богатого молодого купчика, преглупенького, – из «образованных». За две недели до свадьбы (ей было всего шестнадцать лет) она подошла к своему жениху, скрестивши руки и играя пальцами по локтям (любимая ее поза), да вдруг как хлоп его по румяной щеке своей большой сильной рукой! Он вскочил и только рот разинул – надо сказать, что он был смертельно в нее влюблен... Спрашивает: «За что?» Она засмеялась и ушла. «Я тут же, в комнате, находилась, – рассказывала Анна, – была свидетельницей. Побежала за ней да говорю ей: „Катя, помилуй, что ты это?“ А она мне в ответ: „Коли б настоящий был человек – прибил бы меня, а то – курица мокрая! И еще спрашивает: за что? Коли любишь и не отомстил, так терпи и не спрашивай: за что? Ничего ему от меня не будет – во веки веков!“ Так она замуж за него и не пошла. Тут же скоро она с той актрисой познакомилась – и оставила наш дом. Матушка поплакала – а отец только сказал: „Строптивую козу из стада вон!“ И хлопотать, разыскивать не стал. Отец не понимал Клары. Меня она, накануне своего бегства, – прибавила Анна, – чуть не задушила в своих объятиях – и все повторяла: „Не могу! не могу иначе!.. Сердце пополам, а не могу. Клетка ваша мала... не по крыльям! Да и своей судьбы не минуешь...“

– После этого, – заметила Анна, – мы с ней редко видались... Когда умер отец, она приехала на два дня, ничего из наследства не взяла – и опять скрылась. Ей у нас было тяжело... я это видела. Потом она приехала в Казань уже актрисой.

Аратов начал расспрашивать Анну о театрах, о ролях, в которых появлялась Клара, об ее успехах... Анна отвечала подробно, с тем же горестным, хоть и живым увлечением. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена в костюме

одной из ее ролей. На карточке она глядела в сторону, словно отворачивалась от зрителей; перевитая лентой густая коса падала змеей на обнаженную руку. Аратов долго рассматривал эту карточку, нашел ее схожей, спросил, не участвовала ли Клара в публичных чтениях, и узнал, что нет; что ей нужно было возбуждение театра, сцены... но другой вопрос горел у него на губах.

– Анна Семеновна! – воскликнул он наконец, не громко, но с особенной силой, – скажите, умоляю вас, скажите, отчего она... отчего она решилась на тот ужасный поступок?..

Анна опустила глаза.

– Не знаю! – промолвила она спустя несколько мгновений. – Ей-богу, не знаю!.. – продолжала она стремительно, заметив, что Аратов развел руками, как бы не веря ей. – С самого приезда сюда она точно была задумчива, мрачна. С ней непременно что-нибудь в Москве случилось, чего я не могла разгадать! Но, напротив, в тот роковой день она как будто была... если не веселее, то спокойнее обыкновенного. Даже у меня никаких предчувствий не было, – прибавила Анна с горькой усмешкой, как бы упрекая себя в этом.

– Видите ли, – заговорила она опять, – у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. С ранних лет она была в этом убеждена. Подопрется так рукою, задумается и скажет: «Мне не долго жить!» У ней бывали предчувствия. Представьте, что она даже заранее – иногда во сне, а иногда и так – видела, что с ней будет! «Не могу жить, как хочу, так и не надо...» – тоже была ее поговорка. «Ведь наша жизнь в нашей руке!» И она это доказала!

Анна закрыла лицо руками – и умолкла.

– Анна Семеновна, – начал погодя немного Аратов, – вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты...

– Несчастной любви? – перебила Анна, разом отдернув руки от лица. – Это клевета, клевета, выдумка!.. Моя нетронутая, неприступная Катя... Катя!.. и несчастная, отвергнутая любовь?! И я бы этого не знала?.. В нее, в нее все влюблялись... а она... И кого бы она здесь полюбила? Кто из всех этих людей, кто был ее достоин? Кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всех ее недостатках, постоянно носился перед нею?.. Ее отвергнуть... ее...

Голос перервался у Анны... Ее пальцы слегка задрожали. Она вдруг вся покраснела... покраснела от негодования, и в этот миг – и только на миг стала похожа на сестру.

Аратов начал было извиняться.

– Послушайте, – опять перебила Анна, – я непременно хочу, чтобы вы и сами не верили в эту клевету и рассеяли бы ее, если это возможно! Вот вы хотите написать о ней статью, что ли, вот вам случай защитить ее память! Я оттого и говорю с вами так откровенно. Послушайте: от Кати остался дневник...

Аратов вздрогнул.

– Дневник, – прошептал он...

– Да, дневник... то есть всего несколько страничек. Катя не любила писать... по целым месяцам ничего не записывала... и письма ее были такие короткие. Но она всегда, всегда была правдива, она никогда не лгала... С ее самолюбием да лгать! Я... я вам покажу этот дневник! Вы увидите сами, был ли в нем хотя намек на какую-то несчастную любовь!

Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страниц в десять, не более, и протянула ее Аратову. Тот схватил ее с жадностью, узнал неправильный, размашистый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее наудачу – и тотчас же напал на следующие строки:

«Москва. Вторник ...го июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. *Он должен решить мою участь.* (Эти слова были дважды подчеркнуты.) Я опять увидела...» Тут следовало несколько тщательно замаранных строк. И потом: «Нет! нет! нет!.. Надо опять за прежнее, если только...»

Аратов опустил руку, в которой он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь.
– Читайте! – воскликнула Анна. – Что ж вы не читаете? Прочтите с начала... Тут всего на пять минут чтения, хоть и на целых два года тянется этот дневник. В Казани она уже ничего не записывала...

Аратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной.

Та просто окаменела от удивления и испуга.

– Дайте... дайте мне этот дневник, – заговорил Аратов замиравшим голосом – и протянул к Анне обе руки. – Дайте мне его... и карточку... у вас, наверное, есть другая – а дневник я вам возвращу... Но мне нужно, нужно...

В его мольбе, в искаженных чертах его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, на страдание... Да он и страдал действительно. Он словно сам не мог предвидеть, что над ним стряется такая беда, – и раздраженно молил о пощаде, о спасении...

– Дайте, – повторял он.

– Да... вы... вы были влюблены в мою сестру? – проговорила наконец Анна.

Аратов продолжал стоять на коленях.

– Я ее всего два раза видел... верьте мне!.. и если бы меня не побуждали причины, которые я сам ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу... если б не была надо мною какая-то власть, сильнее меня... я не стал бы вас просить... я бы не приехал сюда. Мне нужно... я должен... ведь вы сами сказали, что я обязан восстановить ее образ!

– И вы не были влюблены в сестру? – спросила Анна вторично.

Аратов не тотчас ответил – и отвернулся слегка, как от боли.

– Ну, да! был! был! Я и теперь влюблен... – воскликнул он с тем же отчаяньем.

Послышались шаги в соседней комнате.

– Встаньте... встаньте... – поспешно промолвила Анна. – К нам матушка идет.

Аратов приподнялся.

– И возьмите дневник и карточку, бог с вами! Бедная, бедная Катя!.. Но вы дневник мне возвратите, – прибавила она с живостью. – И если вы что напишете, пришлите мне непременно... Слышите?

Появление г-жи Миловидовой избавило Аратова от необходимости отвечать. Он успел, однако, шепнуть:

– Вы ангел! Спасибо! Пришлю все, что напишу...

Г-жа Миловидова спросонья ни о чем не догадалась.

Так Аратов и уехал из Казани с фотографической карточкой в боковом кармане сюртука. Тетрадку он возвратил Анне – но, незаметно для нее, вырезал листик, на котором находились подчеркнутые слова.

На обратном пути в Москву им опять овладело оцепенение. Хоть он и радовался втайне, что добился-таки того, зачем ездил, однако все помышления о Кларе он откладывал до возвращения домой. Он гораздо больше думал о ее сестре Анне. «Вот, – думал он, – чудесное, симпатическое существо! Какое тонкое понимание всего, какое любящее сердце, какое отсутствие эгоизма! И как это у нас в провинции – да еще в такой обстановке – расцветают такие девушки! Она и болезненна, и собой дурна, и не молода, – а какой бы отличной была подругой для порядочного, образованного человека! Вот в кого следовало бы влюбиться!..» Аратов думал так... но по прибытии в Москву дело приняло совсем другой оборот.

XIV

Платонида Ивановна несказанно обрадовалась возвращению своего племянника. Чего-чего она не передумала в его отсутствие! «По меньшей мере, в Сибирь! – шептала она, сидя неподвижно в своей комнатке, – по меньшей мере – на год!» К тому же и кухарка пугала ее, сообщая наивернейшие известия об исчезновении то того, то другого молодого человека по соседству. Совершенная невинность и благонадежность Яши нисколько не успокаивали старушку. «Потому... мало ли что! – фотографией занимается... ну и довольно! Бери его!» И вот ее Яшенька вернулся цел и невредим! Правда, она заметила, что он как будто похужел и в личике осунулся – дело понятное... без призора! – но расспрашивать его об его путешествии не посмела. Спросила за обедом: «А хороший город Казань?» – «Хороший», – отвечал Аратов. «Чай, там все татары живут?» – «Не одни татары». – «А халата оттуда не привез?» – «Нет, не привез». Тем и кончился разговор.

Но как только Аратов очутился один в своем кабинете – он немедленно почувствовал, что его как бы кругом что-то охватило, что он опять находится *во власти*, именно во власти другой жизни, другого существа. Хоть он и сказал Анне – в том порыве внезапного исступления, – что он влюблен в Клару, но это слово ему самому теперь казалось бессмысленным и диким. Нет, он не влюблен, да и как влюбиться в мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл? Нет! но он во власти... в *ее* власти... он не принадлежит себе более. Он – *взят*. Взят до того, что даже не пытается освободиться ни насмешкой над собственной нелепостью, ни возбуждением в себе если не уверенности, то хоть надежды, что это все пройдет, что это – одни нервы, ни приискиванием к тому доказательств, ни чем иным! «Встречу – возьму», – вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. «Да ведь она – мертвая? Да; тело ее мертвое... а душа? разве она не бессмертная... разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние живой человеческой души на другую живую человеческую душу... Отчего же это влияние не продолжится и после смерти – коли душа остается живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы – вообще – постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?» Эти мысли до того занимали Аратова, что он внезапно, за чаем, спросил Платошу: верит ли она в бессмертие души? Та сначала не поняла, что он такое спрашивает, – а потом перекрестилась и ответила, что еще бы – душе да не быть бессмертной! «А коли так, может она действовать после смерти?» – опять спросил Аратов. Старушка отвечала, что может... за нас молиться то есть; и то, когда пройдет все мытарства – в ожидание Страшного суда. А первые сорок дней она только витает около того места, где ей смерть приключилась.

– Первые сорок дней?

– Да; а потом пойдут мытарства.

Аратов подивился познаниям тетки – и ушел к себе. И опять почувствовал то же, ту же власть над собой. Власть эта сказывалась и в том, что ему беспрестанно представлялся образ Клары, до малейших подробностей, до таких подробностей, которые он при жизни ее как будто и не замечал: он видел... видел ее пальцы, ногти, грядки волос на щеках под висками, небольшую родинку под левым глазом; видел движения ее губ, ноздрей, бровей... и какая у ней походка – и как она держит голову немного на правый бок... все видел он! Он вовсе не любовался всем этим; он только не мог об этом не думать и не видеть. В первую ночь после своего возвращения она, однако, ему не снилась... он очень устал и спал как убитый. Зато, как только он проснулся – она снова вошла в его комнату – и так и осталась в ней – точно хозяйка; точно она своей добровольной смертью купила себе это право, не спрося его и не нуждаясь в его позволение. Он взял ее фотографическую карточку; начал ее воспроизводить, увеличивать. Потом он вздумал ее приладить к стереоскопу.хлопот ему было много... нако-

нец это ему удалось. Он так и вздрогнул, когда увидел сквозь стекло ее фигуру, получившую подобие телесности. Но фигура эта была серая, словно запыленная... и к тому же глаза... глаза все смотрели в сторону, все как будто отворачивались. Он стал долго, долго глядеть на них, как бы ожидая, что вот они направятся в его сторону... он даже нарочно прищурился... – но глаза оставались неподвижными и вся фигура принимала вид какой-то куклы. Он отошел прочь, бросился в кресло, достал вырванный листок ее дневника с подчеркнутыми словами – и подумал: «Ведь вот, говорят, влюбленные целуют строки, написанные милой рукою, – а мне этого не хочется делать – да и почерк мне кажется некрасивым. Но в этой строке – мой приговор». Тут ему пришло в голову обещание, данное Анне насчет статьи. Он сел за стол и принялся было ее писать; но все у него выходило так ложно, так риторично... главное, так ложно... точно он не верил ни в то, что он писал, ни в собственные чувства... да и сама Клара показала ему незнакомой, непонятной! Она не давалась ему. «Нет! – подумал он, бросая перо... – либо сочинительство вообще не мое дело, либо еще подождать надо!» Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны... Сказанное ею слово: «Нетронутая!» внезапно поразило его... Словно что и обожгло его и осветило.

– Да, – промолвил он громко, – она нетронутая – и я нетронутый... Вот что дало ей эту власть!

Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в Библии: «Смерть, где жало твое?» А у Шиллера: «И мертвые будут жить!» (Auch die Todten sollen leben!) Или вот еще, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти!» Библейское изречение особенно подействовало на Аратова. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова... Библии у него не было; он пошел попросить ее у Платоши. Та удивилась; однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете, с медными застежками, всю закапанную воском – и вручила ее Аратову. Он унес ее к себе в комнату – но долго не находил того изречения... зато ему попалось другое:

«Большее сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя...» (Ев. от Иоанна, XV гл., 13 ст.).

Он подумал: «Не так сказано. Надо было сказать: «Большее сея *власти* никто же имать...»

«А если она вовсе не за меня положила свою душу? Если она только потому покончила с собою, что жизнь ей стала в тягость? Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание?»

Но в это мгновение ему представилась Клара перед разлукой на бульваре... Он вспомнил то горестное выражение на ее лице – и те слезы, и те слова: «Ах, вы ничего не поняли!...»

Нет! он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу...

Так прошел весь этот день до ночи.

XV

Аратов лег рано, без особенного желания спать; но он надеялся найти отдых в постели. Напряженное состояние его нервов причинило ему утомление, гораздо более несносное, чем физическая усталость путешествия и дороги. Однако, как ни было велико его утомление, заснуть он не мог. Он попытался читать... но строки путались перед его глазами. Он погасил свечку – и мрак водворился в его комнате. Но он продолжал лежать без сна, с закрытыми глазами... И вот ему почудилось: кто-то шепчет ему на ухо... «Стук сердца, шелест крови...», – подумал он. Но шепот перешел в связную речь. Кто-то говорил по-русски, торопливо, жалобно – и невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить... Но это был голос Клары!

Аратов открыл глаза, приподнялся, облокотился... Голос стал слабее, но продолжал свою жалобную, поспешную, по-прежнему невнятную речь...

Это, несомненно, голос Клары!

Чьи-то пальцы пробежали легкими арпеджиями по клавишам пианино... Потом голос опять заговорил. Послышались более протяжные звуки... как бы стоны... все одни и те же. А там начали выделяться слова...

«Розы... розы... розы...»

– Розы, – повторил шепотом Аратов. – Ах да! это те розы, которые я видел на голове той женщины во сне...

«Розы», – послышалось опять.

– Ты ли это? – спросил тем же шепотом Аратов.

Голос вдруг умолк.

Аратов подождал... подождал – и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха, – подумал он. – Ну, а если... если она точно здесь, близко?... Если бы я ее увидел – испугался ли бы я? Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Разве вот чему: это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел – ведь это могло бы тоже быть галлюцинацией зренья...»

Однако он зажег свечку – и быстрым взором, не без некоторого страха, obeжал всю комнату... и ничего в ней необыкновенного не увидел. Он встал, подошел к стереоскопу... опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратове чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданиях... да и смешны ему показались эти самые ожидания. «Ведь это, наконец, глупо!» – пробормотал он, снова ложась в постель – и задул свечку. Опять водворилась глубокая темнота.

Аратов решился заснуть на этот раз... Но в нем возникло новое ощущение. Ему показалось, что кто-то стоит посреди комнаты, недалеко от него – и чуть заметно дышит. Он поспешно обернулся, раскрыл глаза... Но что же можно было видеть в этой непроницаемой темноте? Он стал отыскивать спичку на ночном столике... и вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него – и слово «Я!» явственно раздалось в его ушах...

«Я!.. Я!..»

Прошло несколько мгновений, прежде чем он успел зажечь свечку.

В комнате опять никого не было – и он уже не слышал ничего, кроме порывистого стука собственного сердца. Он выпил стакан воды – и остался неподвижен, опершись головою на руку. Он ждал.

Он подумал: «Буду ждать. Либо это все вздор... либо она здесь. Не станет же она играть со мною, как кошка с мышью!» Он ждал, ждал долго... так долго, что рука, которой он поддерживал голову, отекала... но ни одно из прежних ощущений не повторялось. Раза два глаза его слипались... Он тотчас открывал их... по крайней мере ему казалось, что он их откры-

вал. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свеча нагорела – и в комнате стало опять темно... но дверь белела длинным пятном среди полумрака. И вот это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло... и на его месте, на пороге двери, показалась женская фигура. Аратов всматривается... Клара! И на этот раз она прямо смотрит на него, подвигается к нему... На голове у ней веноч из красных роз... Он весь всколыхнулся, приподнялся...

Перед ним стоит его тетка, в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте.

– Платоша! – с трудом проговорил он. – Это вы?

– Это я, – ответила Платонида Ивановна. – Я, Яшененочек, я.

– Зачем вы пришли?

– Да ты меня разбудил. Сперва все как будто стонал... а потом вдруг как закричишь: «Спасите! помогите!»

– Я кричал?

– Да; кричал – и хрипло так: «Спасите!» Я подумала: «Господи! Уж не болен ли он?» Я и вошла. Ты здоров?

– Совершенно здоров.

– Ну, значит, тебе дурной сон приснился. Хочешь, ладанком покурю?

Аратов еще раз пристально взгляделся в тетку – и громко засмеялся... Фигура доброй старушки в чепце и кофте, с испуганным, вытянутым лицом, была действительно очень забавна. Все то таинственное, что его окружало, что давило его, – все эти чары разлетелись разом.

– Нет, Платоша, голубушка, не надо, – промолвил он. – Извините, пожалуйста, что я нехотя вас потревожил. Почивайте спокойно – и я усну.

Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала: зачем, мол, не гасишь... долго ли до беды! – и, уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его.

Аратов немедленно заснул – и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа... хотя ему и было жаль чего-то... Он чувствовал себя легко и свободно. «Экие романтические затеи, подумаешь», – говорил он самому себе с улыбкой. Он ни разу не взглянул ни на стереоскоп, ни на вырванный им листик. Однако тотчас после завтрака отправился к Купферу.

Что его туда влекло... он сознавал смутно.

XVI

Аратов застал своего сангвинического приятеля дома. Поболтал с ним немного, попрекнул ему, что он совсем их с теткой забывает, – выслушал новые похвалы золотой женщине, княгине, от которой Купфер только что получил из Ярославля ермолку, вышитую рыбьей чешуей... и вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань.

– Ты ездил в Казань? Это зачем?

– Да вот хотел собрать сведения об этой... Кларе Милич.

– О той, что отравилась?

– Да.

Купфер покачал головою.

– Вишь ты какой! А еще тихоня! Тысячу верст отломал туда и сюда... из-за чего? А? И хоть бы женский интерес тут был какой! Тогда я все понимаю! все! всякие безумства! – Купфер взъерошил себе волосы. – Но чтобы одни материалы собирать, как это у вас говорится – у ученых мужей... Слуга покорный! На это существует статистический комитет! Ну и что ж, познакомился ты со старухой и с сестрой? Не правда ли, чудесная девушка?

– Чудесная, – подтвердил Аратов. – Она мне много любопытного сообщила.

– Сказала она тебе, как именно отравилась Клара?

– То есть... как же?

– Да; каким манером?

– Нет... Она еще так была огорчена... Я не посмел слишком-то расспрашивать. А разве было что особенное?

– Конечно, было. Представь: она должна была в самый тот день играть – и играла. Взяла с собою стклянку яду в театр, перед первым актом выпила – и так и доиграла весь этот акт. С ядом-то внутри! Какова сила воли? Характер каков? И, говорят, никогда она с таким чувством, с таким жаром не проводила своей роли! Публика ничего не подозревает, хлопает, вызывает... А как только занавес опустился – и она тут же, на сцене, упала. Корчи... корчи... и через час и дух вон! Да разве я тебе этого не рассказывал? И в газетах об этом было!

У Аратова внезапно похолодели руки и в груди задрожало.

– Нет, ты мне этого не рассказывал, – промолвил он наконец. – И ты не знаешь, какая это была пьеса?

Купфер задумался.

– Называли мне эту пьесу... в ней является обманутая девушка... Должно быть, драма какая-нибудь. Клара была рождена для драматических ролей... Самая ее наружность... Но куда же ты? – перебил самого себя Купфер, видя, что Аратов берется за шапку.

– Мне что-то нездоровится, – отвечал Аратов. – Прощай... Я в другой раз зайду.

Купфер остановил его и заглянул ему в лицо.

– Экой ты, брат, нервический человек! Посмотри-ка на себя... Побелел, как глина.

– Мне нездоровится, – повторил Аратов, освободился от руки Купфера и отправился вояси. Только в это мгновение ему стало ясно, что он и приходил-то к Купферу с единственной целью поговорить о Кларе...

«О безумной, о несчастной Кларе...»

Однако, придя домой, он опять скоро успокоился – до некоторой степени.

Обстоятельства, сопровождавшие смерть Клары, сначала произвели на него потрясающее впечатление; но потом эта игра «с ядом внутри», как выразился Купфер, показалась ему какой-то уродливой фразой, бравадой – и он уже старался не думать об этом, боясь возбудить в себе чувство, похожее на отвращение. А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил

ее полуночное появление, вспомнил эту куцую кофту, этот чепец с высоким бантом (и к чему бант на ночном чепце?!), всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все его видения рассыпались прахом! Он даже заставил Платошу повторить рассказ о том, как она услышала его крик, испугалась, вскочила, не могла разом попасть ни в свою, ни в его дверь, и т. д. Вечером он с ней поиграл в карты и ушел в свою комнату немного грустный, но опять-таки довольно спокойный.

Аратов не думал о предстоящей ночи и не боялся ее: он был уверен, что проведет ее как нельзя лучше. Мысль о Кларе от времени до времени пробуждалась в нем; но он тотчас вспоминал, как она «фразисто» себя уморила, и отворачивался. Это «безобразие» мешало другим воспоминаниям о ней. Взглянувши мельком на стереоскоп, ему даже показалось, что она оттого смотрела в сторону, что ей было *стыдно*. Прямо над стереоскопом на стене висел портрет его матери. Аратов снял его с гвоздя, долго его рассматривал, поцеловал и бережно спрятал в ящик. Отчего он это сделал? Оттого ли, что тому портрету не следовало находиться в соседстве той женщины... или по другой какой причине – Аратов не отдал себе отчета. Но портрет матери возбудил в нем воспоминание об отце; об отце, которого он видел умирающим в этой же самой комнате, на этой постели. «Что ты думаешь обо всем этом, отец? – обратился он мысленно к нему. – Ты все это понимал; ты тоже верил в шиллеровский „мир духов“. Дай мне совет!»

– Отец дал бы мне совет все эти глупости бросить, – промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог и, чувствуя какое-то отяжеление всего тела, раньше обыкновенного лег в постель в полной уверенности, что заснет немедленно.

Оно так и случилось... но не оправдались его надежды на мирную ночь.

XVII

Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычайный, угрожающий сон.

Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и дом этот, и все прилежавшее к нему имение. И все ему думается: «Хорошо, теперь хорошо, а быть худу!» Возле него вертится маленький человечек, его управляющий; он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и имении все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте, – твердит он, хихикая при каждом слове, – посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади... экие чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом, в стойлах; гривы и хвосты у них удивительные... но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему – и скверно скалят зубы. «Хорошо... – думает Аратов, – а быть худу!» – «Пожалуйте, пожалуйте, – опять твердит управляющий, – пожалуйте в сад: посмотрите, какие у вас чудесные яблоки». Яблоки точно чудесные, красные, круглые; но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают... «Быть худу», – думает он. «А вот и озеро, – лепечет управляющий, – какое оно синее да гладкое! Вот и лодочка золотая... Угодно на ней прокатиться?... Она сама поплывет». – «Не сяду! – думает Аратов, – быть худу!» – и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держит в лапе стклянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться, – кричит с берегу управляющий... – Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, бесшумного, мягкого – нет; черный, страшный, воющий вихрь! Все мешается кругом, – и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит стклянку к губам, слышатся отдаленные: «Браво! браво!» – и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: «А! ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!»

Весь трепеща, проснулся Аратов. В комнате не темно... Откуда-то льется слабый свет и печально и неподвижно освещает все предметы. Аратов не отдает себе отчета, откуда льется этот свет... Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти!

Из губ его исторгается крик:

– Клара, ты здесь?

– Да! – раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты.

Аратов беззвучно повторяет свой вопрос...

– Да! – слышится снова.

– Так я хочу тебя видеть! – вскрикивает он и соскакивает с постели.

Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали. «Где же? где?» – шептали его губы...

Ничего не видеть, не слышать...

Он осмотрелся – и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходил от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, Платошей, в то время как он спал. Он даже почувствовал запах ладана... тоже, вероятно, дело ее рук.

Он поспешно оделся. Остаться в постели, спать – было немислимо. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда-либо.

И вот он заговорил не громким голосом, но с торжественной медленностью, как произносятся заклинания.

– Клара, – так начал он, – если ты точно здесь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь – явись!.. Если эта власть, которую я чувствую над собою, точно *твоя* власть – явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя, – явись!

Если то, что я слышал, – точно твой голос; если чувство, которое овладело мною, – любовь; если ты теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор и не любил и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, – явись, Клара!

Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади – как тогда, на бульваре – и положил ему руку на плечо. Он обернулся – и никого не увидел. Но то ощущение *ее* присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо!

Аратов тихо опустился на колени. Да; он был прав тогда: ни испуга, ни радости не было в нем – ни даже удивления... Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство: «А! наконец! наконец!»

– Клара, – заговорил он слабым, но ровным голосом, – отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты... но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный *тому* ... (Он указал рукою в направлении стереоскопа.) Докажи мне, что это ты... обернись ко мне, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась... и упала снова.

– Клара, Клара! обернись ко мне!

И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова.

Он подался немного назад – и произнес одно протяжное, трепетное:

– А!

Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра – прежде чем увидала Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор – и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы...

– Я прощен! – воскликнул Аратов. – Ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой – и ты моя!

Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы – и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее зубов – и восторженный крик огласил полутемную комнату..

Вбежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на коленях; голова его лежала на кресле; протянутые вперед руки бессильно свисли; бледное лицо дышало упоением безмерного счастья.

Платонида Ивановна так и упала возле него, обняла его стан, залепетала:

– Яша! Яшенька! Яшененочек! – попыталась приподнять его своими костлявыми руками... он не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своим голосом. Вбежала служанка. Вдвоем они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водою – да еще с образа...

Он пришел в себя. Но на расспросы тетки он только улыбался – да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась – и то его крестила, то себя... Аратов, наконец отвел ее руку и все с тем же блаженным выраженьем на лице промолвил:

– Да, Платоша, что с вами?

– С тобой-то что, Яшенька?

– Со мной? Я счастлив... счастлив, Платоша... вот что со мной. А теперь я желаю лечь да спать. – Он хотел было приподняться – но такую почувствовал в ногах, да и во всем теле,

слабость, что без помощи тетки да служанки не был бы в состоянии раздеться и лечь в постель. Зато он заснул очень скоро, сохраняя на лице все то же блаженно-восторженное выражение. Только лицо его было очень бледно.

XVIII

Когда на следующее утро Платонида Ивановна вошла к нему – он находился все в том же положении... но слабость не прошла – и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне. «Что это, господи! – думалось ей, – кровинки в лице нет, от бульона отказывается, лежит да посмеивается – и все уверяет, что здоровехонек!» Он отказался и от завтрака. «Что же это ты, Яша? – спрашивала она его, – так весь день и намерен пролежать?» – «А хоть бы и так?» – ответил ласково Аратов. Самая эта ласковость опять-таки не понравилась Платониде Ивановне. Аратов имел вид человека, который узнал великую, для него очень приятную тайну – и ревниво держит и хранит ее про себя. Он дожидался ночи – не то что с нетерпением, а с любопытством. «Что же далее? – спрашивал он себя, – что будет?» Изумляться, недоумевать он перестал; он не сомневался в том, что вступил в сообщение с Кларой; что они любят друг друга... И в этом он не сомневался. Только... что же может выйти из такой любви? Вспоминал он тот поцелуй... и чудный холод быстро и сладко пробежал по всем его членам.

«Таким поцелуем, – думалось ему, – и Ромео и Джульетта не менялись! Но в другой раз я лучше выдержу... Я буду обладать ею... Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях...

Но как же дальше? Ведь вместе жить нам нельзя же? Стало быть, мне придется умереть, чтобы быть вместе с нею? Не за этим ли она приходила – и не *так* ли она хочет меня взять?

Ну так что же? Умереть – так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? Напротив, только *так* и *там* я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба – нетронутые! О, этот поцелуй!»

* * *

Платонида Ивановна то и дело заходила к Аратову в комнату; не беспокоила его вопросами, только взглядывала на него, шептала, вздыхала – и уходила опять. Но вот он отказался и от обеда... Это было уже из рук вон плохо. Старушка отправилась за своим знакомым участковым лекарем, в которого она верила только потому, что человек он был непьющий и женился на немке. Аратов удивился, когда она привела его к нему; но Платонида Ивановна так настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамону Парамонычу (так звали лекаря) осмотреть его – ну хоть для нее! – что Аратов согласился. Парамон Парамоныч пощупал у него пульс, посмотрел на язык – кое-что порасспросил – и объявил наконец, что необходимо нужно его «поавскультировать». Аратов был в таком повадливом настроении духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажил его грудь, деликатно постучал, послушал, похмыкал – прописал капли да микстуру, а главное: посоветовал быть спокойным и воздерживаться от сильных впечатлений. «Вот как! – подумал Аратов... – Ну, брат, поздно хватился!»

– Что такое с Яшей? – спросила Платонида Ивановна, вручая Парамону Парамонычу на пороге двери трехрублевую ассигнацию. Участковый лекарь, который, как все современные медики – особенно те из них, что мундир носят, – любил пощеголять учеными терминами, объявил ей, что у ее племянника все «диоптрические симптомы нервной кардиалгии – да и фебрис есть». «Ты, однако, батюшка, говори попроще, – отрезала Платонида Ивановна, – латыню-то не пугай; ты не в аптеке!» – «Сердце не в порядке, – объяснил лекарь, – ну и лихорадочка...» – и повторил свой совет насчет спокойствия и воздержания. «Да ведь опасности нет?» – с строгостью спросила Платонида Ивановна (смотри, мол, опять в латынь не заезжай!). – «Пока не предвидится!»

Лекарь ушел – а Платонида Ивановна пригорюнилась... однако послала в аптеку за лекарством, которое Аратов не принял, несмотря на ее просьбы. Он отказался также и от грудного чаю. «И чего вы так беспокоитесь, голубушка? – говорил он ей, – уверяю вас, я теперь самый здоровый и счастливый человек в целом свете!» Платонида Ивановна только головой качала. К вечеру с ним сделался небольшой жар; и все-таки он настоял на том, чтобы она не оставалась в его комнате и ушла спать к себе. Платонида Ивановна повиновалась, но не разделась и не легла; села в кресло – и все прислушивалась да шептала свою молитву.

Она начала было дремать, как вдруг страшный, пронзительный крик разбудил ее. Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову – и по-вчерашнему нашла его лежавшим на полу.

Но он не пришел в себя по-вчерашнему, как ни бились над ним. С ним в ту же ночь сделалась горячка, усложненная воспалением сердца.

Через несколько дней он скончался.

Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила – и не заметила, как отдала?

В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном, о совершенном браке; о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей:

– Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно – так же, как и я радуюсь...

И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилось бедной старухе.

1882